

Виталий Сирота

ЖИВОЕ ПРОШЕДШЕЕ



Виталий Сирота
Живое прошедшее

«ИП Князев»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Сирота В.

Живое прошедшее / В. Сирота — «ИП Князев», 2015

Мемуары В. Г. Сироты (1944 г. р.) – петербургского ученого, преподавателя, основателя первой в СССР частной почтовой компании – охватывают несколько десятилетий XX и XXI веков. Среди персонажей книги социолог Игорь Кон, актер Николай Лавров, обладатель крупнейшей в мире коллекции неофициального русского искусства Георгий Михайлов и многие другие видные ленинградцы и петербуржцы. В книге сохранены особенности авторской стилистики.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Сирота В., 2015
© ИП Князев, 2015

Содержание

Без гнева и пристрастий	6
От автора	13
Отец	14
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Виталий Георгиевич Сирота

Живое прошедшее

© В. Г. Сирота, 2015

© Н. Л. Елисеев, вступительная статья, 2015

© Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2015

Без гнева и пристрастий

Один из самых интересных историков России, марксист Михаил Николаевич Покровский, однажды неплохо, хотя и слишком хлестко сформулировал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». На первый взгляд, неверно и даже вредно. Подталкивает к нехорошим выводам. Антиисторическим. Мол, раз политика, то какая уж тут объективность? Четко и безжалостно проводи свою политическую линию... в истории. На самом деле верно, и вывод должен быть совершенно другой. Если тебе даже в истории, в недавно прошедшем или в давно прошедшем, не избавиться от своих идеологических или политических пристрастий, то – если ты занимаешься историей – будь любезен, сдерживайся. Не воюй с мертвецами. Все равно своих пристрастий ты не спрячешь. Старайся быть объективным, помни о завете римского историка – «без гнева и пристрастий», тогда гнев и пристрастия, которые прорвутся (как же без них!), будут убедительны как у Тацита.

Именно такие ощущения вызывают воспоминания Виталия Сироты – физика, спортсмена и бизнесмена. Они спокойны, сдержанны, объективны. Они современны и своевременны. Они появляются вовремя. Сейчас самое время для таких воспоминаний о недавнем советском периоде. Мы ведь плохо знаем прошлое. А недавнее свое прошлое (вот парадокс-то!) знаем еще хуже. И не в том даже дело, что мы ленивы (есть немножко) и нелюбопытны (а этого нет), как писывал Пушкин, а в том, что наше недавнее прошлое заидеологизировано неумными учениками Михаила Николаевича Покровского до полной стертости, до некоего шаблона, клише. Конкретика исчезла, детали.

С этого и начинается свои воспоминания Виталий Сирота: «Мне важно было передать детали быта и атмосферу, в которой жили я и мои родители, друзья, знакомые. Оказывается, прошедшее быстро забывается. Кто сейчас помнит керосинку и примус, комплексный обед и рыбный день, логарифмическую линейку и таблицы Брадиса, треугольник на работе – администрация, партбюро и профком?»

А в самом деле, кто? Да почти никто, ибо практически все российское общество охватила ностальгия по советским временам. И те, кто не жил при Советах, и те, кто захватил эту жизнь большей или меньшей частью своей жизни, – чуть ли не все забыли, что такое «рыбный день». Между тем «кто забыл свое прошлое, обречен его повторить» (Дж. Сантаяна). Виталий Сирота не забыл. Более того, он хорошо его понял и описал. И здесь стоит остановиться на особенностях его мемуаров.

Есть три отношения к истине, жизни, истории. Первое, самое простое: истина есть, и я – обладатель этой истины. Те, кто со мной не согласен, или злонамеренные лжецы, или такие тупицы, что им и объяснять ничего не следует – все равно не поймут. Второе, посложнее и поопаснее, как это ни странно, смыкающееся с первым: никакой истины нет. Мир слишком сложно сложен, чтобы в нем можно было обнаружить истину. Прав тот, кто умнее, образованнее, хитрее, сильнее; тот, кто так или иначе сможет навязать свою точку зрения, свою «истину». Наконец, третье отношение: истина есть. Как ей не быть-то? Только постичь ее очень трудно, посему кусочек истины есть у любого, даже у ошибающегося, даже у злостно лгущего. И у меня есть кусочек этой истины. Я должен как можно спокойнее, как можно объективнее передать, перенести этот кусочек истины людям. Что Виталий Сирота и делает. Умело, профессионально.

Почему умело и профессионально? Потому что по роду своей деятельности и по призванию он ученый. Он поднаторел в отчетах о проделанных экспериментах. В данном случае эксперимент социальный, а он – одновременно наблюдатель, исследователь и... объект эксперимента. Кажется, это называется экспериментом с включенным наблюдением. Помните, в одном из романов братьев Стругацких были страницы, написанные стилем «лаборант»? Так

вот, перед вами сейчас и откроются страницы, написанные тем же стилем: с учетом всех факторов, с замечанием всех подробностей и деталей, с выводами в таких ситуациях, когда автор полагает, что имеет возможность сделать выводы, с предоставлением читателю возможности самому их сделать, если автор на таковые выводы в силу тех или иных причин не решается.

Вот пример из главы об отце. «Жизнь в послевоенной Германии отец вспоминал добрым словом. Говорил, что советские солдаты чувствовали себя там на улицах много безопаснее, чем в Польше, где часто в них стреляли из-за угла, хотя страна уже и была полностью освобождена от немцев». Никакого вывода из этого эпизода Виталий Сирота не делает. А я, например, могу сделать. Германия была страной-агрессором, страной-оккупантом. Почитай с 1914-го, какое – с 1870-го, нет, раньше! С 1866 года Германия воевала на чужой территории. Немцы знали, как обходятся оккупанты с оккупированным населением, а как достойно вести себя, оказавшись в оккупации, они не знали. Поэтому подняли руки вверх и позволили все. А поляки привыкли быть в подполье, привыкли быть в Сопротивлении, поэтому и сопротивлялись как нацистам, так и коммунистам.

Но это – *мой* вывод, а автор никаких выводов здесь не делает. Просто факт, а вы уж сами над ним размышляйте. Или такая – пробросом – история: «Видели мы с Егоркой (сыном. – *Н. Е.*) в Курортном биологическую станцию, в которой был бассейн с дельфинами. Этих дельфинов в недавние времена тренировали для выполнения военных задач. Вообще наука в Советском Союзе развивалась очень неплохо – благодаря военным деньгам, следы которых можно было найти в самых мирных исследованиях».

Дальше уж сами соображайте, какие такие военные задачи должны были выполнять дельфины. Можете вспомнить замечательный фантастический роман Робера Мерля «Разумное животное» с его изумительным финалом, когда у дельфина-смертника спрашивают: «Неужели вы не понимали, для чего вас готовят люди?», а тот отвечает: «Люди такие хорошие, у них такие добрые руки, такая красивая музыка...» А можете вспомнить стихи Давида Самойлова: «Неужто все, чего в тиши ночей / Пытливо достигает наше знание, / Есть разрушение, а не созиданье, / И все нас превращает в палачей?» В общем, возможности для читательского сотворчества абсолютно открыты.

Или такая история. «Другой мой соученик, Юля (Юлиан) Гольдштейн, не был диссидентом. Он любил бардовские песни, ходил в агитпоходы, ездил на целину, был добрым, непрактичным человеком. По распределению попал на Горьковский автозавод. Настал август 1968 года – чешские события. На заводе состоялось собрание, где выступали официальные лица с разъяснениями. Юле что-то показалось непонятным, и он задал вопрос одному из выступавших. После собрания к нему подошли несколько человек, у которых тоже были вопросы, и они договорились встретиться, чтобы все обсудить. Встретиться не пришлось, так как Юлю арестовали. Как рассказывал мне Юля, адвокат пояснил ему перед судом, что есть два варианта поведения. Первый – признать, что возводил напраслину на государство, и тогда он получит три года за клевету. Второй – стоять на своем, утверждать, что не клеветал, и получить десять лет за агитацию против советской власти. Юля избрал первый вариант. Он не был борцом с режимом, он был его жертвой.

В сентябре 2011 года я увидел афишу выставки "Вторжение 68 Прага". Забыта "интернациональная помощь", все названо своими именами, так, как говорили "голоса" в том августе. За что пострадал Юля? Кто ответит за это?»

Кажется, читатель готов возразить мне: ну как же «без гнева и пристрастия»? Гнев и пристрастие не педалированы, но очень заметны в этом безответном риторическом вопросе: «За что пострадал Юля?» (Кстати, Виталий Сирота второй человек в русской культуре, заметивший, что русские писатели сформулировали не два знаменитых вопроса, а три: «Кто виноват?» (Герцен), «Что делать?» (Чернышевский, это все помнят), «За что?» (Лев Толстой). Пер-

вым заметившим этот третий вопрос был Сергей Довлатов: «"Чем тебя так: кирпичиной?" – "Ботинком", – ответил я. И подумал: "Все спрашивают: чем? И никто: за что?"»)

Простите мое юмористическое отступление. Дело-то серьезное. Во-первых, случай, согласитесь, вопиющий. Здесь и стиль «лаборант» надламывается. Во-вторых, даже в этом вопиющем случае тон не меняется. Тон спокоен. В нем нет ярости. Есть печаль. Недоуменная, так сказать, печаль. Удивление, обида, но не ярость. Потому что Виталий Сирота – добрый человек. Это заметно по его воспоминаниям. Воспоминания хороши и плохи тем, что они обнажают человека, как эстрада. Беллетристика (как сцена) человека скрывает, а воспоминания – обнажают.

Эренбург, готовя свои мемуары, говорил молодому Борису Слуцкому: «Я буду писать только о хороших людях...» Это был осознанно выбранный принцип, продуманная стратегия: «Я пишу об оклеветанных, убитых, забытых людях, значит, мне надо писать о них только хорошее и только про хороших. Только. Я – реабилитатор. Занимаюсь процессом реабилитации». Тоньше и точнее всех поняла стратегию Эренбурга-мемуариста самый умный человек шестидесятых годов XX века в России Анна Ахматова: «Эренбург взялся реабилитировать всех подряд», – заметила она по прочтении его воспоминаний.

Но книга В. Сироты ни в коем случае не обвинительное заключение и уж тем более не сведение счетов и не жалоба, как могло бы показаться из приведенных выше примеров. Семейный и дружеский круг, работа, спорт, увлечение джазом... «Счастливым человеком – это тот, кто с удовольствием идет утром на работу, а вечером – домой». По признанию автора, вся его жизнь в СССР была по-настоящему счастливой, – несмотря на всем известные негативные черты советского строя. Перефразируя Ницше, можно сказать: то, что нас не убивает, делает нас эмоционально и духовно богаче; каждый опыт может оказаться полезен.

Стратегия Сироты-мемуариста проста и по-хорошему бесхитростна: точно и честно вспомнить все, что было. Однако в силу того, что он добрый человек, мерзавцы чиркают в его памяти по обочине, по краю, а запоминает он только хороших людей. Хотя «чиркнутые по краю памяти» мерзавцы хорошо впечатываются в читательское сознание. Как, например, забудешь такого: «В нашей маленькой экспедиции были разные люди. Был футболист московского "Динамо" предвоенных лет. Ко времени экспедиции ему исполнилось лет сорок пять. Годы войны он, как динамовец, провел в войсках МВД в Москве, но участвовал и в выездных акциях, например в выселении народов Кавказа. Завозили их воинскую часть в горные села как пехотинцев или артиллеристов, прибывших с фронта. Рассказывали они местным жителям байки про свои "фронтовые подвиги". Потом говорили жителям, что надо построить дорогу к их аулу для подвоза техники. Бывший футболист с удовольствием описывал, как одураченные горцы с энтузиазмом строили дорогу, по которой их же вскоре всех до единого депортировали.

Это были сладкие для него воспоминания. Говорил он также с некоторым сожалением, но и с гордостью, что украсть что-либо из опустевших домов было практически невозможно из-за тотального взаимного доноительства. А украсть было что, потому что в домах оставалась вся утварь горцев, в том числе и ценная – кинжалы, ковры...»

Любопытен финал этого эпизода. Вот тут как раз и срабатывает стиль «лаборант». Виталий Сирота делает неожиданный для читателя вывод, с которым читатель, подумав, может согласиться. Никаких инвектив по адресу честного карателя, ничего не укравшего, никаких цитат типа «...но ворюги мне милей, чем кровопийцы». Нет-нет, ничего подобного, ибо с бывшим «динамовцем» и его моральными принципами и так все понятно: клиент очерчен. Вывод совершенно другой: «Одна из причин того, что многим в России сегодня, в послеперестроечное время, те времена милее, может, состоит именно в том, что деятели репрессивного аппарата тех лет были ненамного богаче остального населения и в этом смысле являлись "своими". Если даже в домашнем шкафу у чекиста висело много чернобурок сомнительного происхождения, то это тоже было понятно и в каком-то смысле близко и простительно. Чекист ходил

под тем же роком, что и остальные люди, и завтра мог сам оказаться заключенным. Видимо, многим в России небогатый угнетатель милее сегодняшнего удачливого, богатого предпринимателя или политика, тем более что чистота их богатства часто сомнительна. Шкаф с чернобурками у соседа-чекиста видела девочкой моя жена Татьяна, игравшая с соседской дочерью. Татьяна запомнила этот шкаф на десятилетия. Родители Татьяны не одобряли эту дружбу и советовали ей обходить тот дом стороной».

Между тем в этом коротком отрывке тоже очень многое немногими штрихами очерчено. Чего стоит предложение насчет неодобрения дружбы и огибания дома чекиста и его шкафа стороной! Это умение вновь и снова связано с опытом человека, много экспериментировавшего в лабораториях и написавшего много отчетов об этих опытах. В этих отчетах не растецешься «мысию по древу». Кратко и точно: что сделано, какие процессы пошли, какие выводы. Умение наблюдать и считать никогда не покидает Виталия Сироту.

«Немного о материальной стороне жизни в шестидесятые годы. Студенческая стипендия была 30–40 рублей. Пообедать в очень неплохой университетской студенческой столовой стоило 50 копеек. Комплексный обед – типовой, из трех блюд, вроде сегодняшнего бизнес-ланча, – был и того дешевле. Кофе в уютной кофейне под столовой – 14 копеек, пирожное – 22. Зарплата младшего научного сотрудника без ученой степени была около 120 рублей. Между прочим, такая же пенсия была у моих родителей, и надо сказать, что пожилым людям этих денег в основном хватало. Билет в купейный вагон до Москвы на фирменный поезд, например «Красную стрелу», стоил около 12 рублей, то есть на зарплату младшего научного сотрудника можно было десять раз съездить в Москву или около двухсот раз неплохо пообедать. Сегодня зарплаты младшего научного сотрудника хватает примерно на 3–5 поездок в Москву или 50–80 обедов. По этой грубой оценке уровень жизни интеллигенции упал более чем в два раза.

А ведь в СССР и так жили небогато. Денег явно не хватало, особенно молодежи. Я и мои друзья подрабатывали репетиторством, летними выездами на строительные работы в сельскую местность или разгружая железнодорожные вагоны. Это называлось шабашкой, а работники, соответственно, шабашниками. Я постоянно репетиторствовал».

В двух абзацах очерчена целая, прямо скажем – непростая, социально-экономическая ситуация. Это умение подкупает в авторе мемуаров. Он – зоркий наблюдатель. Он замечает и запоминает все, что достойно замечания и запоминания. Вот он описывает вологодскую деревню 60-70-х годов XX века, в которой отдыхал каждое лето с семьей. «Дома казались остатками исчезнувшей цивилизации. Не знаю, насколько хороша была та цивилизация, но жизнь там, похоже, была налаженной. В больших двухэтажных домах оставались целыми внутренние основательные деревянные лестницы с перилами из изящных резных балясин. Разглядывая их, понимаешь, что вытаскивались они в деревенских условиях. В некоторых домах сохранились даже внутренние бани для женщин – мужчины мылись в баньках у реки. <...> Помню табличку на одном из домов, извещающую, что дом застрахован в каком-то дореволюционном страховом обществе. Металлические дверные петли, крючки, оконные запоры – вся фурнитура, как сказали бы сейчас, – были ручной работы. <...> На чердаках валялись части домашних ткацких станков, старинной кухонной утвари, конской упряжи».

Чем хорош стиль «лаборант»? Тем, что он доверителен, объективен, точен и... доверителен. Читателя берут за руку, как друга, и ведут по останкам недоуничтоженной цивилизации. Видите красивые резные балясины? А вы присмотритесь: они же все ручной работы! А вот это что за помещение? Баня, причем для женщин, потому что мужчины мылись у речки. Автор именно *ведет* читателя по своему тексту, по своей жизни, не навязывая ни своих взглядов, ни своих мыслей. Свои мысли он, разумеется, высказывает, но если ему кажется, что вот эта ситуация слишком сложна для его непрофессионального взгляда, он ее просто изложит, а уж читатель сам додумает или просто подумает.

«На окраине деревни, на высоком берегу речки, сохранились остатки усадьбы раскулаченной семьи мельников Ступаковых. После высылки семьи в доме разместили начальную школу. Когда я приехал, от здания оставался только крепкий фундамент. Жители добром вспоминали выселенную семью и недобрым словом – деревенских активистов, способствовавших ее выселению. Работящим детям выселенной семьи удалось, несмотря на "пятно" в анкете и фильтры отделов кадров, выйти в люди. Жена рассказывала, что один из них приезжал в деревню и благодарил выжившего активиста за высылку, – ведь им, детям репрессированных, даже повезло по сравнению с односельчанами, которые оставались беспаспортными "невыездными" колхозниками».

Одним абзацем Виталий Сирота описывает парадокс советской истории: коллективизация, «третья революция» (ужасов которой хотел избежать лидер «правого уклона» в ВКП(б) Николай Бухарин), вышибла из деревни активную, работоспособную, инициативную ее часть, кого вниз – на погибель, а кого и вверх – к городской карьере, порой весьма убедительной. Вот эта часть детей кулаков, пошедшая вверх, стала частью советской партийной и хозяйственной элиты. Не все из них были так совестливы и памятьливы, как Александр Твардовский. Для некоторых (в точности по Фрейдю) место загубленных отцов занял «батька усатый», грозный, жестокий Отец, Сталин. Возможно и несправедливый, но... мудрый и сильный. Это ощущение подкреплялось тем, что весьма многие из активистов были погублены «батькой усатым» в ходе террора 37-го года. Ненависть к «голодранцам-коммунякам», с глазами на затылке оравшим «Уре, уре, к мировой революции! К коммунизму!», соединялась у этой части советской элиты с испуганным преклонением перед мощью государства, с изумительной социальной мимикрией и потрясающей работоспособностью.

Таких эпизодов, из которых каждый читатель может сделать свой вывод, додумать ситуацию, точно описанную автором в книге, не счесть. Вот еще одна историйка из главы про деревню под Вологдой. «Когда мы купили избу, входная дверь висела на одной петле и запиралась прутиком. Я, не будучи мастеровитым человеком, сделал, как умел, новую дверь, покрасил ее и с гордостью повесил. Уезжая на зиму, запер дом на новенький замок. Приехав весной, мы увидели, что дверь грубо сломана, но в доме ничего существенного не пропало. У соседей-дачников тоже все было на месте и цело. Я поправил дверь – следующей весной все повторилось. К счастью, старую дверь я не выкинул. Сняв новую, я вновь навесил на ту же одну петлю старую дверь, и, уезжая, мы заперли ее на прутик. Весной все было цело!»

Можно диссертации и тома писать про «общинную психологию» русского народа – вот она в самом сжатом очерке. «Ты чё запираисся? Чё запираисся-то? Мы чё, воры чё-ли? Отродясь у нас не воровали... А захочим, так и своруюем – замок не помеха... Ишь, куркуль... Замок он повесил... Кулак...» Замечательно то, что никаких объяснений этому происшествию Сирота не дает. Просто удивляется. Негромко. В последнем предложении слышна эта изумленная интонация: «Надо же!» Все равно как экспериментатор смешал две какие-то жидкости, и вместо ожидаемой реакции – ка-а-ак жажнет-шарахнет! Вот те на, кто бы мог подумать?

На той же удивленной интонации экспериментатора, у которого жажнуло, а вроде бы и не должно было жажнуть, держатся многие абзацы воспоминаний Виталия Сироты.

Еще один пример. «Мой тесть, коренной вологжанин, рассказывал: на сельских праздниках бывало так, что, несмотря на все желание собравшихся подражаться, подходящего противника рядом не оказывалось, и тогда ножом ударяли корову или лошадь. Я такого, к счастью, не видел, но вот некое подтверждение слов тестя в стихотворении "Снуют. Считают рублики..." вологодского поэта Николая Рубцова, знатока и патриота тех мест: "Не знаю, чем он кончится – запутавшийся путь, но так порою хочется ножом... куда-нибудь!" Даже не "кого-нибудь", а "куда-нибудь"! Недавно, пытаюсь понять подобные загадки в поведении местных жителей, я перечитал стихи Н. Рубцова и не нашел в них упоминаний о каких бы то ни было контактах с

вологжанами. Почему? Почему земляки интересовали его гораздо меньше, чем природа родного края?»

В этом случае хочется иронически заметить: «Вы же сами ответили на свой вопрос... Начнешь контактировать, а там глядишь – и нож под ребра... С березкой такой поворот событий исключен...» Однако отрешившись от иронии, стоит сказать: кроме любопытного социально-психологического наблюдения Сирота заметил то, мимо чего проходили все писавшие о творчестве Николая Рубцова. А и в самом деле: помимо пейзажей и собственной несчастной, мятущейся, тоскующей души, Николая Рубцова не интересовало ни-че-го. Если и появлялся в его поэзии посторонний ему человек, то это был... добрый Филя, абсолютное дитя природы, вроде березки: «Филя любит скотину, ест любую еду. Филя ходит в долину, Филя дует в дуду. Мир такой справедливый, даже нечего крыть. "Филя, что молчаливый?" – "А о чем говорить?"».

В отличие от Рубцова Виталию Сироте люди *интересны*. Сердечно интересны. Поэтому его воспоминания – не просто точные, объективные, умные наблюдения. Эти воспоминания *художественны*. Ибо их автор (как я уже писал) добр. Это превращает его воспоминания не просто в документ эпохи, давно и недавно прошедшей, но в художественную прозу. Вот описание двора дома, в котором автор жил в пору своего студенческого шабашничества в поселке Должицы: «Во дворе были дровяные сараи, земля покрыта толстым мягким слоем опилок и щепок. В теплую погоду опилки сильно пахли, этот запах смешивался с запахом уборных. Тут же стояли качели, на которых часто качался мальчик лет семи, сын высланной из Ленинграда проститутки, жившей в доме. У мальчика была болезнь сердца и из-за этого очень синюшные губы. Качели мерно поскрипывали, а мальчик что-то пел в ритм с этим скрипом. Пел божественным голосом, напоминающим Робертино Лоретти. Все вместе: голос мальчика, скрип качелей, сильнейший запах, общее чувство неустроенности – сильно действовало на меня».

На читателя, признаться, тоже. Мне, например, показалось, будто я увидел сцену из фильма поздней Киры Муратовой. Непоказная, сдержанная сентиментальность – одна из самых сильных черт Виталия Сироты как мемуариста. В соединении с умом и наблюдательностью она дает великолепный эстетический эффект и превращает его мемуары в подлинно художественную прозу.

«Примерно до восьмидесяти лет мама была в отличной физической форме: делала зарядку, самостоятельно легко передвигалась по городу. Потом начались возрастные проблемы, в основе которых была старческая деменция. Но и с плохой головой, когда от маминой личности осталось уже немного, она сохранила свои главные черты – достоинство, уважение к окружающим без тесного сближения с ними, терпеливость. Конфликт и мама, ссора и мама – это было несовместимо. Она никогда не жаловалась, ее невозможно представить себе сплетничающей или выпрашивающей что-то у окружающих. Как-то, когда маме было за девяносто и болезнь уже развилась, я навестил ее в больнице. Я дал ей банан, а сам занялся какими-то хозяйственными больничными делами. Мама сидела с очищенным бананом и чуть ли не сглатывала слюну. "Почему ты не ешь?" – спросил я. "А ты?" И пока я не начал есть, она не прикоснулась к банану.

Я забрал маму из больницы 28 апреля 2000 года. Вообще с начала 1990-х мама жила у брата, где и умерла в июле 2001-го. За три дня до смерти я навестил ее. Она спокойно лежала в постели. "Как себя чувствуешь?" – спросил я. "Хорошо". Я склонился над ней. Она поправила воротник моей рубашки и долго пыталась застегнуть верхнюю пуговицу уже неловкими пальцами»...

А теперь забудьте все, что я написал. В конце концов, это то, как я воспринял, как я понял «Живое прошедшее» Виталия Сироты. Вы можете понять и воспринять этот документ времени, эту прозу по-другому. Вас может больше заинтересовать судьба его отца, кубанского казака Георгия Яковлевича Сироты, или его матери, белорусской еврейки Рахили Фадеевны

Комиссаровой, или история перестроечного кооперативного движения, в котором Виталий Сирота принял активное участие, а может быть – воспоминания о художниках и коллекционерах, с которыми дружил автор, или его спортивные увлечения, – да много что может заинтересовать читателя в честно и умно рассказанной честной и умной жизни.

Никита Елисеев

От автора

Писать воспоминания я стал по настоянию сына. Мне был приятен его интерес к истории семьи. Нам обоим хотелось, чтобы и его дети побольше знали о своих предках.

Мне важно было передать детали быта и атмосферу в которой жили я и мои родители, друзья, знакомые. Оказывается, прошедшее быстро забывается. Кто сейчас помнит керосинку и примус, комплексный обед и рыбный день, логарифмическую линейку и таблицы Брадиса, треугольник на работе – администрация, партбюро и профком?

Постепенно я увлекся сочинительством. Оно структурировало мою пенсионную жизнь, помогло осмыслить прошедшее, познакомиться и поработать с интересными людьми.

Отец

Татьяне и Егору – самым близким

Мой отец Георгий Яковлевич Сирота родился в 1907 году на Кубани, в станице Бжедуховской. Его отца звали Яков Саввич, а деда – Савва Тарасович. Яков Саввич дослужился до звания младшего казачьего офицера (есаул или хорунжий, сейчас трудно установить). Мать Георгия Яковлевича, мою бабушку, звали Марией, она была не казачка, а, как говорили казаки, «из москалей». Мария умерла, когда отец был совсем маленьким. Семейное предание гласит, что первой женой Якова Саввича была турчанка, которую он привез из военного похода. Яков Саввич участвовал в освобождении Болгарии от турок в 1877-78 годах и среднеазиатских походах, потом стал станичным атаманом и даже возглавлял оборону станицы от войск белых в Гражданскую войну. Вероятно, это происходило во время кубанских походов Добровольческой армии. В тех местах воевали отборные офицерские части – полки марковцев и дроздовцев. Дед стоял за казачью самостийность. Белых, выступавших за реставрацию царизма, он не поддерживал. Лозунги красных о свободе и земле тоже его не прельщали, ибо у казаков в их понимании и так было и то и другое. Кроме того, сами эти лозунги исходили от пришлых, «инородцев», к которым у местного населения доверия не было.

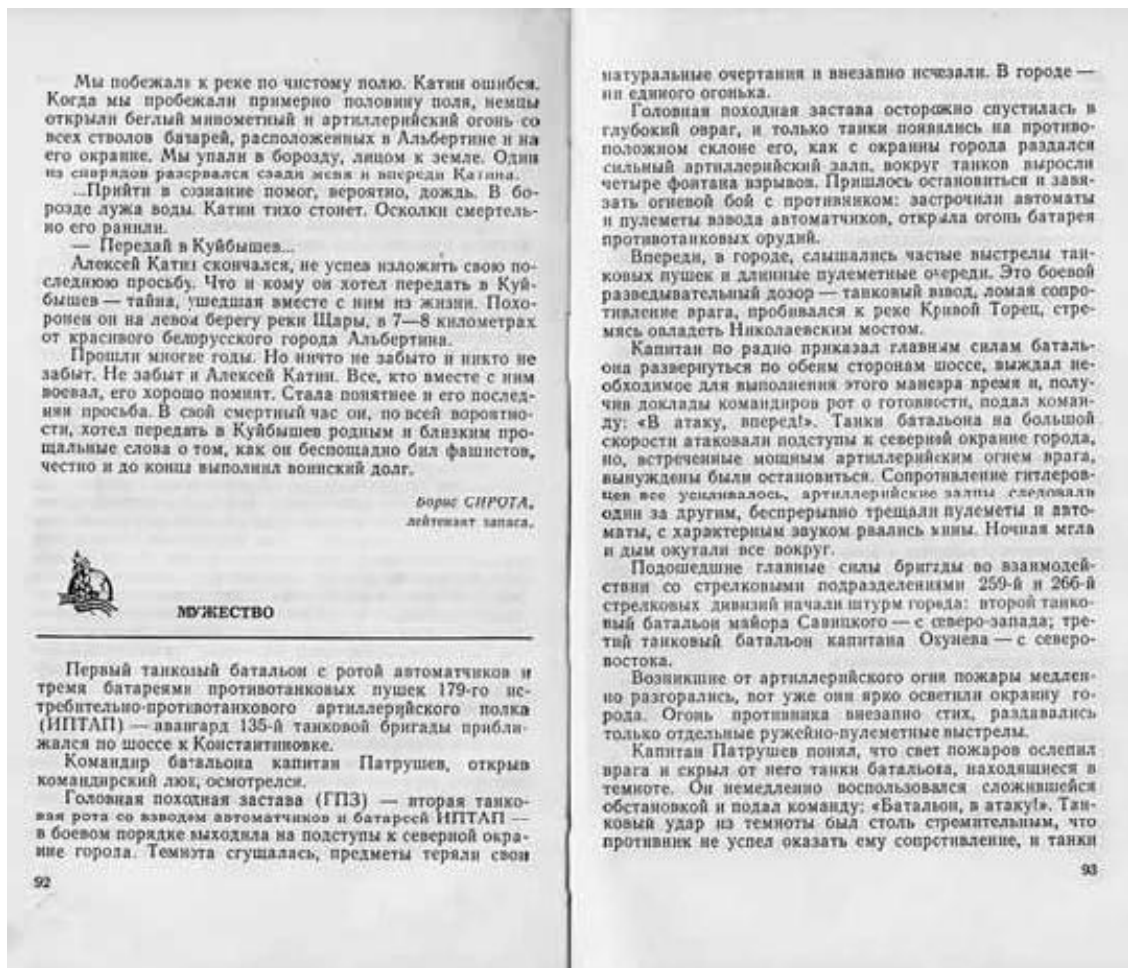


Мой дед Яков Саввич перед революцией

Один из братьев отца, Фёдор, по другим данным – Федул, был во время Гражданской войны командиром отряда «зеленых», воевавших за самостоятельность Кубани, и, по слухам, его повесили. В эти же годы на Кубани воевал с «зелеными» полк Аркадия Гайдара, известный особой жестокостью и практиковавший повешение пленных. Возможно, между этими фактами есть связь. О жестокостях, сопровождавших борьбу с «зелеными», упоминается в книге А. Л. Литвина «Красный и белый террор в России в 1918–1922 гг.» Там приводится цитата из указания В. И. Ленина: «Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом "зеленых" (мы потом на них свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного...»

Другой брат отца, Василий, закончил в Новочеркасске железнодорожное училище (получать подобное образование было не свойственно казакам), воевал за красных. Погиб он, кажется, в лагере на Соловках.

Племянники отца, сыновья его погибших братьев, достойно сражались в Великую Отечественную войну. Борис Фёдорович (Федулович) был сапером, отличился при форсировании Днепра. В книге «Они были рядом» (Донецк, 1975) есть его рассказ о боевых товарищах. После войны Борис работал в Донбассе на высокой должности в шахтерском деле.



Рассказ моего двоюродного брата Бориса Сироты о своих боевых товарищах (книга «Они были рядом», Донецк 1975)

Второй сын Фёдора, Михаил, воевал на Кавказе, в горных частях, против немецких егерей. После войны жил в Одессе, плавал на судах китобойной флотилии «Слава».

Сестра отца Ксения Яковлевна всю жизнь жила в Краснодаре, в отдельном домике с небольшим тенистым садом. В южную жару в этом саду было приятно сумрачно и прохладно. Она жила вместе с сыном Александром, профессиональным музыкантом. Когда Ксения Яковлевна гостила у нас в Ленинграде, то ходила со мной в Кировский театр. Я был слабо развит музыкально и отчаянно и немного демонстративно скучал во время длинных опер на тему российской истории.

Муж Ксении Яковлевны в конце 1930-х был репрессирован и погиб. Сын Александр долго не заводил семью, и это огорчало тетю. Наконец он женился на... дочке полковника КГБ, что по понятным причинам Ксению Яковлевну озадачило. Но радость от женитьбы все перебила.

Помню, в 1960-х годах я уезжал на поезде из Краснодара. Билет купить (тогда говорили «достать») было невозможно. Новый родственник, тесть Александра, помог моментально. В вагоне по сверхпочтительному отношению проводника я понял, что мое место закреплено за авторитетным ведомством.

Отец рассказывал, что еще мальчиком вместе с Яковом Саввичем ездил верхом в горные аулы, где их принимали как почетных гостей. Еще совсем недавно горцы были противниками казаков, но Яков Саввич уважал свойственные им качества, прежде всего стойкость, мужество, воинскую доблесть, и горцы платили ему тем же. Теплые чувства и интерес к песням, танцам, одежде, культуре, вообще ментальности горцев передались и моему отцу. Для него было бы дико слышать сегодняшние выражения вроде «лицо кавказской национальности».

Сохранилось предание, как роду Сирот досталась земля в станице. Наш общий предок, во времена Екатерины II вместе с другими казаками переселенный с Запорожской Сечи на Кубань, находился в дозоре на сторожевой вышке и подвергся неожиданному нападению горцев. Он отбилсЯ в рукопашной схватке, за что и был пожалован земельным наделом.

Яков Саввич умер в годы революции, когда ему было под восемьдесят. Он скончался от сибирской язвы – заразился, разделявая забитую больную корову.

Всего у отца было семь братьев и сестер.

Живя на севере, он немного тосковал и каждое лето стремился на юг. Кубань обычно проезжали ночью. Отец подолгу стоял у открытого окна поезда, в вагон врвался теплый ветер с запахами трав. Сейчас я понимаю, что надо было спросить, о чем он думает, какие картины проносятся у него в голове. В пути отец с нетерпением ждал остановок: выходил на перрон, с удовольствием беседовал с торговками фруктами «за жизнь». Помню, как он разминал в руках южные пряные травы и листья, а потом давал мне понюхать. Он любил и чувствовал кожей те края.

Его казацкая закваска проявлялась в интересе к истории казачества, пренебрежении бытовыми мелочами и удобствами, неприязнательности в быту, некотором консерватизме, почтении к авторитетам, сильном патриотизме несколько славянофильского уклона – он недоверчиво относился к западным деятелям, осуждавшим наш тоталитаризм, поддерживавшим диссидентов и вообще издали болевшим за Россию.

В нашем доме часто спорили на политические темы. Такие кухонные баталии вполголоса происходили тогда во многих семьях. У нас эти споры происходили, как правило, между отцом и сыновьями. Спорили довольно горячо. Отец не поддерживал публичных смелых критиков режима только потому, что считал неправильным выносить сор из избы и вообще публично критиковать свое.

Ирина Мироновна Сирота, жена племянника отца, Николая Николаевича, так описывает типичные казацкие черты в характере мужа: «Вольнолюбие, бесстрашие, широта натуры, романтизм». Видно, что перечень близок к моему.

Отец не любил то, что называл барством. Помню его презрительное выражение «паркетный шаркун». Он уважал труд непосредственных производителей, но не обслуживающих их людей: торговцев, перекупщиков, разного рода посредников...

Он любил украинский юмор, знал украинских писателей, читал на память Тараса Шевченко на обоих языках, напевал мелодии из первой украинской оперы С. С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» и малороссийские песни. В каком-то его удостоверении личности в графе «национальность» было написано «украинец».

Детство отца пришлось на Гражданскую войну. Мальчиком в окопчике, вырытом в саду, он пережил артиллерийские обстрелы станицы окружившими ее войсками. После таких обстрелов бойцы захватывали в заложники несколько местных жителей и требовали в обмен казачьих лидеров. Так поступали все враждующие стороны. Заложников расстреливали на краю высокого крутого обрыва. Внизу была река. Некоторые из расстреливаемых бросались вниз с обрыва и тем спасались.

Все это происходило на глазах отца. Недавно я прочел, что при очередном взятии красными войсками станиц Лабинского отдела Кубани было казнено 816 казаков, 40 000 домохозяйств разграблено (Родина. 1990. № 10). То есть отец мальчиком видел, по сути, истребление казачества.

Воспоминания об академике Н.Н. Сироте



Сборник, посвященный памяти моего дяди Н. Н. Сироты

После смерти Якова Саввича отец остался один и стал беспризорником.
О тех временах он не рассказывал, лишь напевал песни вроде:

Так в саду при долине громко пел соловей.
А я, мальчик на чужбине, позабыт от людей.
Позабыт, позаброшен с молодых юных лет.
Я остался сиротою, счастья-доли мне нет.

Вот убьют, и умру, похоронят меня.
И никто не узнает, где могила моя.
И никто не узнает, и никто не придет,
И только ранней весной соловей пропоет.

В конце концов его взяла к себе семья брата, Николая Яковлевича, и тем спасла от бродяжничества. В семье росли свои два сына – Николай и Игорь. Николай впоследствии стал крупным ученым-физиком и масштабным, ярким человеком (см., например, сборник: Воспоминания об академике Н. Н. Сироте. Минск, 2008).

С этой семьей у отца были очень нежные, почтительные отношения. Так к этим людям относилась и вся наша семья.

Николай Яковлевич окончил математический факультет Санкт-Петербургского университета, где у кубанского казачества была квота мест. Работал экономистом. В конце 1930-х погиб в ГУЛАГе. Мать Николая Николаевича, Лина Васильевна, закончила в Петербурге Фребелевские курсы, где готовили педагогов для детских садов. Домашним учителем Лины Васильевны одно время был Алексей Иванович Рыков, видный соратник Ленина. Он отбывал ссылку в Саратове, где тогда жила ее семья.

Помню, как нежно произносила Лина Васильевна «Жора» при встречах с моим отцом.

В Николае Николаевиче, как и в моем отце, было много казачьего, в частности пренебрежение бытовыми удобствами. Однажды я приехал к нему в гости в Минск, где он возглавлял созданный им Институт физики твердого тела и полупроводников Академии наук БССР. Жил он в то время один, семья находилась в Москве. Приехав, я застал его за ужином: Николай Николаевич ел гречневую кашу. Эту же кашу ел его большой пес. Я присоединился к трапезе.

Помню одну историю, рассказанную им: после революции представители советской власти пригласили казачьих офицеров в Краснодарский театр для регистрации и определения на службу. Там же, в театре, все они были арестованы и бесследно исчезли. По-видимому, такой прием был довольно распространенным в то время. Как написано в воспоминаниях И. С. Шмелева, таким же образом Бела Кун в Крыму уничтожил белых офицеров, явившихся по требованию властей на регистрацию.

Но я редко слышал подобные рассказы от Николая Николаевича. Как правило, в домашних «политических» разговорах он был весьма лоялен власти и ее идеологии, что вызывало сильное недоумение моих близких.

Отец учился в Московском индустриально-педагогическом институте им. К. Либкнехта. Среди преподавателей встречались крупные ученые – скажем, физикохимик П. А. Ребиндер и химик Б. Н. Меншуткин. Это было время революционных педагогических новаций: например, бригадного обучения студентов, когда преподавателю мог отвечать один студент за всю группу. В институте отец познакомился с будущей женой, то есть моей мамой. Оба жили в общежитии. Маме переселиться в общежитие посоветовал тайком комсомольский лидер, который ей симпатизировал. Она уже попала в списки на отчисление из-за плохих анкетных данных, а переселение в общежитие почему-то временно уменьшало остроту проблемы.

Когда мама знакомила отца с родителями, ему пришлось представиться евреем. Дело в том, что мамин отец был глубоко верующим человеком и выдать дочь замуж за не еврея было для него невыносимо. Конечно, маминых родителей удивило, что ее знакомый молодой человек не говорит на идиш, но для них придумали какое-то объяснение. Нехама, мамина мама, кажется, догадалась об обмане, но виду не подала. Ситуация поразительная: казак представляется евреем!

Мои будущие родители посещали вечера поэзии в Политехническом музее, слушали Маяковского, Уткина, Есенина; видели корифеев МХАТа и других московских театров, спектакли Всеволода Мейерхольда, Соломона Михоэлса, блиставшего в еврейском театре ГОСЕТ в роли короля Лира. Отец рассказывал, что как-то по общежитию прошел слух, что выступает Троцкий. Потом те, кто пошел его слушать, навсегда пропали.

Отец в те годы ездил на Родину, в станицу Бжедуховскую. Там его однажды, как сына казачьего офицера, посадили под арест в баню. Похожий эпизод был в биографии философа

А. Ф. Лосева, выходца из донских казаков. Тот едва избежал ареста, когда приехал на побывку в родной Новочеркасск.

Об «изъянах» в биографиях отцу и маме не давали забыть практически всю жизнь.

После окончания института родителей направили на работу в Сясьстрой, где строился целлюлозно-бумажный комбинат. Мама работала инженером на производстве, отец преподавал химию в профессиональном училище при комбинате и, вероятно, занимал какую-то административную должность – был директором или завучем. В Сясьстрой родители приехали с одним чайником. Из-за обилия клопов им пришлось поставить свою кровать на середину комнаты, а ее ножки поместить – поместить в банки с водой. Но насекомые стали десантироваться с потолка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.